

Суть концепции Тургенева — в освобождении диалога от строго определенных исторических закреплений, в придании ему универсального смысла. Писатель поступил здесь наперекор той тенденции к детерминизму, которая прокладывала себе путь в европейском историческом мышлении. Лучше всего это можно увидеть, обратившись вновь к трактовке Гамлета.

Знаменитое гетевское определение трагедии Гамлета в «Годах учения Вильгельма Мейстера» (кн. IV, глава 13) — «Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное создание, лишенное силы чувств, без коей не бывает героев, гибнет под бременем, которое ни нести, ни сбросить ему не дано...» [23, с. 199] — это определение многообразно стимулировало эстетическую мысль.

С одной стороны, ближе описывался, так сказать, дешифровывался тот нравственный состав, который делал Гамлета неспособным к подвигу. Август Шлегель видел причину в непомерном развитии рефлексии. Отказываясь судить о Гамлете «столь благожелательно», как Гёте (ибо «Гамлет не имеет никакой твердой веры ни в себя, ни во что другое»), А. Шлегель считал, что пьеса показывает, как «размышление, которое хочет исчерпать до мыслимых пределов все отношения и возможные следствия дела, парализует самую деятельную силу...» [24, с. 147—150]. Заметим, кстати, что если ощущением избранности персонажа, стоящего перед решительным испытанием, тургеневская концепция близка к Гёте, то само объяснение его бездействия гипертрофией рефлексии, а также релятивизмом моральных критериев восходят к Шлегелю.

Далее, в истории гамлетовского вопроса намечается стремление к национальной локализации. Нравственный состав персонажа, его склонность к рефлексии, бездействие — выводятся из определенной национальной почвы, немецкой по преимуществу (Людвиг Берне; Ф. Фрейлиграт, родоначальник крылатой фразы: «Гамлет — это Германия» и т. д.). У Гервинуса («Шекспир», 1849—1850) национальная конкретизация крепко была увязана с другой — временной. Гамлет — это не только образ «нашего немецкого поколения», так что в нем «мы видим и чувствуем самих себя». Гамлет — современный человек вообще; в нем запечатлен «социальный характер нового времени», выпадающий из «героических нравов натурального века». «В удел ему досталась более нежная нервная организация, чем людям его окружения; ему даны знание и мыслительная сила, которые не вяжутся с мускульной силой старого героического времени». В Гамлете двумя веками предвосхищена «современная чувствительность» [25, с. 113—114].

Аналогичный процесс национальной и временной локализации Гамлета проходил и на русской почве. Н. А. Полевой, автор выдающегося по влиянию перевода «Гамлета» на русский язык (1836), говорил в тон Гервинусу: «Гамлет по своему миросозерцанию... человек нашего времени, дитя XIX века». «Мы плачем вместе с Гамлетом и плачем о самих себе» [26, с. 266]. «О себе» — это значит о русских интеллигентах второй четверти XIX в. «В интерпретации Полевого Гамлет носил в себе черты передового русского интеллигента, пережившего разгром декабризма, политически пассивного, бессильного перед лицом наступившей реакции и терзающегося от своего бессилия...» [10, с. 132]. Отсюда — широкое распространение формулы «русский Гамлет», находившей самое разнообразное применение и к художественным персонажам и к реальным лицам, в том числе и к Тургеневу. (Одно из таких любопытных применений — к Гоголю; в стихотворении, посвященном памяти писателя, Вяземский писал: «Гамлет наш! Смесь слез и смеха, / Внешний смех и тайный плач».)

У Белинского временная и национальная локализация Гамлета была закреплена философски. В статье «„Гамлет“, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838) критик обосновывал существование трех эпох: младенчества, или «бессознательной гармонии... духа с природою»; юноше-